

# АУКАИ АҒЫБАШЕВ



Михаил Арцыбашев

Из подвала

I

Сапожник Антон стоял, сгорбившись и опустив длинные корявые, как корни, руки, а заказчик, молодой купеческий приказчик, сытый и гладкий, тоже стоял посреди подвала, среди обрезков кожи, колодок и рваных сапог, ожесточенно размахивал руками и кричал на Антона:

— Это черт знает что такое!.. Левый сапог жмет, а правый хлябает! Разве это сапоги... это черт знает что, а не сапоги!..

Он тыкал сапогами, подошвами вверх, чуть не в самое лицо Антона, и в его неестественно напряженном голосе ясно слышалось желание повеличаться и покуражиться.

— Нет... вот походишь ты у меня за деньгами... Ты... крикнул приказчик, нелепо взмахнув руками, и нерешительно, но с злобным удовольствием прибавил: Скотина!

И от удовольствия и боязни весь налился кровью, так что толстая короткая шея его совсем слилась с красным галстуком.

Антон молча переложил шило из правой руки в левую и тяжело вздохнул.

В подвале было совсем темно, и воздух, густой и тяжелый, висел синим пологом. Под потолком и по углам стоял сырой, пропитанный запахом кожи, ворвани и ваксы, пар. Фигура Антона только черным востроугольным силуэтом вырисовывалась на светлом четырехугольнике окна.

— Так и знай! — крикнул заказчик и сердито, но довольно пыхтя, пошел из подвала, осторожно нагибая голову, чтобы не стукнуться о притолоку новеньким твердым котелком.

Антон проводил его до дверей, отворил дверь и даже попридержал ее, пока приказчик подымался по склизкой и крутой лесенке. Потом еще тяжелее вздохнул и вернулся вниз.

Хотя на дворе было еще совсем светло, но в подвале все утонуло в сизом полумраке, так что только возле окна виден был тощий горшок с давним, еще прежними хозяевами посаженным, луком, который торчал одной чахлой и сухой соломинкой. Антон часто внимательно смотрел на это жалкое, бледное растение, умиравшее медленной смертью от недостатка воздуха и солнца, и почему-то жалел выбросить его на двор.

Антон стал заправлять лампочку, неловко чиркая тоненькими спичками и все тяжело вздыхая.

Вздыхал он не о том, что его только что обругали и тыкали в лицо сапогами. И то и другое было так привычно ему, что вряд ли он помнил это подробно. Все заказчики на всякие лады ругали его, швыряли сапоги иногда и били, а чаще не платили денег. Все это были люди маленькие, до такой степени зависимые, забитые и скучные, что у них была органическая потребность хотя изредка, в свою очередь, на кого-нибудь покричать, над кем-нибудь

покуражиться, почувствовать себя выше хоть кого-нибудь. И сам Антон сделал бы то же самое, если бы и от него кто-либо зависел так, как он ото всех. А потому, хотя и бессознательно, Антон чувствовал, что иначе и быть не может, и все должны ругаться, куражиться и драться, чтобы маленькая звериная злоба, сидящая в трусливой глубине чахлах душонок, не задушила их самих. Но виноватым Антон себя никогда не считал: он делал то, что умел, и так, как умел, — шил сапоги не лучше и не хуже никого, не столько по мерке; сколько по заученному фасону. Он даже не подозревал, что можно совершенствоваться в своей работе, потому что это было грязное, голодное, тяжелое и однообразно-скучное ремесло, постылое и нудное.

Вздыхал же он оттого, что вечная жизнь в сыром и низком подвале, в запахе кожи и ваксы, впроголодь, без любви, света и радости, давила его организм к земле, и всегда, когда он разгибал спину, ноющую от согнутого положения, ему казалось, что он с болезненным надрывчатым усилием подымает какую-то страшную, неодолимую, не дающую вздохнуть, тяжесть.

— Н-ну... — выпускал тогда Антон.

Еще целый час, после ухода сердитого приказчика, он сидел, согнувшись в три погибели у еле коптящей лампочки, пугливо мигавшей от стука его молотка, и пригонял подборы к толстым и тяжелым сапогам соседнего дворника. А потом встал, оставил где попало инструменты, закрутил лампочку и вышел посидеть на лесенку, захватив с собой гармонию.

Теперь и на дворе были совсем сумерки, высоко вверху синие и призрачные, внизу на земле — черные и темные. Стены дома, стоявшие как колодезь, в котором был погребен Антон, казались бледными и синеватыми, точно мертвыми; над ними, где-то очень высоко вверху, виднелось потемневшее небо, и на нем блестели две-три звезды.

«Такое-то дело», — подумал Антон, сам не зная почему тряхнул головой и тихо растянул гармонию, нагнувшись к ней правым ухом.

Раздался пискливый и совсем слабый звук, но Антону показалось так громко, что он оглянулся вокруг и прислушался. Потом собрал гармонию и пустил звук еще глуше и ниже. Так он начинал всегда, потому что ему не позволяли играть во дворе, и Антон этими осторожными звуками хотел узнать, дома ли старший дворник.

И, как всегда почти, в отворенную форточку дворницкой выглянул кто-то, смутно видный в темноте, и из черного четырехугольника послышался сиплый и равнодушно свирепый голос:

— Опять... ты!

Антон вздрогнул, проворно отложил гармонию и виновато приподнял картуз. Но дворник не видел его и, проворчав что-то, точно прорычала большая собака, скрылся в форточке. Антон опустил руки между ногами и, ковыряя дыру в сапоге, задумался. Ему очень хотелось играть, и он думал о том, что хорошо было бы как-нибудь, в воскресенье пойти на целый день за город, сесть где-нибудь под зеленым откосом железной дороги и поиграть всласть, так, чтобы в ушах запело. Ему было приятно думать это, хотя он прекрасно знал, что никогда не пойдет за город, потому что никогда не выберет столько свободного времени; по праздникам он утром ходил за кожей, днем разносил работу по заказчикам, а к вечеру всегда был пьян.

Антон сидел на лесенке, пока совсем стемнело, и вверху, между стенами, звезды заблестели ярко и свободно, а по стенам, снизу доверху, разбежались желтые огни окон. Когда Антон поднимал голову кверху, казалось светло и ярко весело, а когда смотрел вниз, там было еще чернее и мрачнее. Антон охотно, со странным тоскливо-радостным чувством смотрел на небо и на звезды; но привычка сидеть согнувшись все тянула его книзу и заставляла тупо впиваться глазами в сизо-черный мрак двора.

От скуки и от жгучего желания напиться, Антон стал припоминать жизнь, но она рисовалась ему тускло и скучно. Почему он очутился в городе, Антону было мало понятно. Из всего детства он твердо помнил только удары сапожной колодкой по голове, беганье за водкой, улицы и городовых. Потом, когда Антон вырос, он ушел от хозяина и стал жить в углах и работать на себя, наклеив на окно вырезанный из старого журнала дамский ботинок. Он жил так из года в год, сильно пил, ночевал в притонах и в участках и бывал страшно бит городовыми. Потом почувствовал нежность к соседней швейке, хотя она и смеялась над ним, называя его дураком и уверяя, что ему сапожной колодкой память отшибли. Тем не менее Антон перестал пить, сшил новую, жестоко топорщившуюся рубаху и сходил в баню. За швейкой ходил он неотступно, не умея выразить ей то смутное, нежное и хорошее как музыка чувство, которое было в нем. Наконец сшил ей новые ботинки и подарил. Тогда и швейка назвала его Антоном Васильевичем и зазвала пить чай. Узнав, сколько Антон зарабатывает, она стала вздыхать, плакать, о чем-то тосковать и, наконец, через дворничиху сообщила, что ничего против Антона не имеет и даже совсем напротив. Антон восхитился всей душой, сходил к обедне, купил орехов и конфект, надел новую рубаху и собрался было к швейке, чувствуя, что серую его жизнь осветило каким-то мягким и ласковым светом, но тут пришли дворник с городовым и повели его в участок. В участке Антона допросили о каком-то узле и каком-то Ваньке Свистунове, спросили, не пил ли он такого-то числа, в семь часов вечера, в портерной Иванова, что на Петербургской стороне, пиво и не заплатил ли «сим» полтинником? А затем спросили насчет вида.

Антон никакого узла не видал, Ваньки Свистунова не знал, а в портерной был. На полтинник он смотрел, как козел на воду, не понимая в чем дело, и вид у него оказался просроченным.

В конце концов Антон очутился в остроге, и несмотря на то что ни в чем виноват не был и рвался на волю к свету и швейке, инстинктивно чувствуя что-то несправедливое и жестокое, просидел в остроге шесть месяцев. А когда вышел, то свет, затеплившийся у него в душе, был задавлен острожной грязью, и к швейке Антон не пошел, только случайно, стороной, узнал, что она спуталась с «хорошим» господином.

И в душе у него осела смутная горечь и тоска, тем глуше и тяжелее, что он не понимал ее и не знал, куда ему надо стремиться, где лучше и где хуже. Жизнь пошла еще однообразнее и скучнее, разнообразясь только тупым машинальным пьянством, без удовольствия и веселья.

Все это Антон припоминал так безучастно, как будто все случилось не с ним, а с кем-то другим; а все-таки ему было тяжело, скучно и как будто чего-то жалко, и хотелось напиться, нахлестаться водки.

Во втором этаже открыли окно, и оттуда полосой лег через темный двор желтый яркий свет. Отчетливо виднелся нарядный тюль занавесок, и слышались взрывы оживленных голосов, а потом кто-то громко и быстро заиграл, звонко засмеялся и крепко хлопнул крышкой рояля.

Антон чутко слушал чужие яркие звуки, пока не закрыли окно и все затихло, потом машинально потрогал гармонию, повертел ее в руках, стараясь не испустить ни одного звука, и ему показалось, что стало бы легче, если бы заиграть. Было уже поздно. Антон по обыкновению тяжело вздохнул и пошел спать. Пока он лежал с открытыми глазами, он думал о том, что надо платить за кожу, и о том, как на прошлой неделе околоточный, не разобрав в чем дело, без вины хлестнул его по зубам. Губа вспухла, и кровь пошла, пачкая посинелые десны.

Тяжелый воздух охватил его, сгустился и застыл. Антону стало сниться, что на него, пьяного, наехал извозчик и давит его к твердой мостовой тяжелыми колесами.

На другой день было воскресенье, а к вечеру Антон сидел в трактире.

Машина играла что-то очень шумное, но совсем невеселое. Было страшно накурено, шмыгали половые, тяжело и нерадостно хохотали и кричали люди, а в бильярдной четко стучали шарами. Антон пошел туда. Играть он не умел, но ему очень нравилась эта игра, потому что сукно было такое зеленое, шары такие чистенькие, белые и стучали бойко и весело.

Играли двое приказчиков, и один из них, высокий, кудластый парень, так ловко щелкал по шарам, что Антон довольно улыбался.

«Ловкач! — думал он, с уважением и завистью глядя на приказчика, вспотевшего от форсу. — А поиграл бы и я, право... я до этих делов мастер!..»

И он чувствовал нежность к приказчику.

Но приказчик стукнул его турником в грудь, скиксовал и яростно выругался:

— Какого черта лезе...шь!.. места мало, что ли!

Антон оробел и отошел, чувствуя обиду и боль в груди.

— Шляются тут, — проговорил приказчик и помелил кий.

— Отойдите, видите — мешаются... — счел своим долгом присовокупить маркер, быстро оглядев своими оловянными глазками Антона с ног до головы.

— Шушера! — проворчал он, подавая машинку игрокам.

Антон сопел и краснел, отодвигаясь все больше и дальше, пока не стукнулся затылком об ящик для шаров; тогда он обмер от конфуза и застыл, испуганно и скоро мигая веками.

Про него сейчас же и забыли. Игроки щелкали шарами, два мальчика мрачного вида горько укоряли друг друга каким-то двугривенным, лампа над бильярдом сумрачно коптила, а из зала слышался теперь разухабистый мотив «Гейши». Антон успокоился, стал оглядываться по сторонам и даже попросил у маркера закурить. Маркер почесался, подумал и сказал:

— На столе завсегда для этой цели спички поставлены.

Но Антону очень хотелось говорить. Ему еще со вчерашнего вечера было почему-то грустно, и водка, выпитая им, не только не прогоняла грусти, но, напротив, даже как-то давила на сердце.

— Скучно вот, знаете, что без компании, — заискивающе произнес он, закуривая папиросу, и по лицу его видно было маркеру, что он хотел и боялся предложить папиросу и ему. И именно потому маркер посмотрел на него с нескрываемым презрением, ухмыльнулся и отошел.

Антон еще скорее замигал глазами и потихоньку ушел в зал. Там он спросил еще полбутылки водки и выпил всю, а потом долго сидел, понурившись и горько глядя на соленый огурец, лежавший перед ним на блюде. По привычному шуму в ушах и по тому, как глухо и будто издали доносились до него все звуки, Антон очень хорошо понимал, что он уже пьян. И это было ему обидно, как будто в этом был виноват кто-то другой, постоянно его обижавший.

«Рабочий я человек!» — подумал он, и ему захотелось плакать и кому-то жаловаться. Машина завела грустное-грустное, и Антон, покачивая головой и крепко прижав руку к щеке,

запел что-то несурзное, без слов и без мотива. Ему казалось, что выходит очень хорошо и нестерпимо жалостно. На глазах у него показались слезы.

— Здесь петь не полагается... не извольте безобразить! — сказал половой, подскользывая к Антону на мягких подошвах.

— П...почему? — со скорбным недоумением спросил Антон, поднимая посоловевшие, налитые слезами глаза.

— А потому, — ответил половой и внушительно прибавил: — Пожалуйста из заведения.

— Эт...то почему? — еще с большим недоумением и с глухо подымавшимся в нем раздражением повторил Антон.

— Очень безобразно... Пожалуйста, честью просят, — настойчиво твердил половой. Антон оробел и встал.

— Ну, что ж... я пойду... Рабочему человеку нельзя посидеть... гм... очень странно, — бормотал он, отыскивая шапку, упавшую за стул.

— Ничего, ничего, пожалуйста! — твердил половой.

Антон, покачиваясь, двинулся из зала, а чувство обиды все больше и больше росло в нем, причиняя его пьяному мозгу почти физическое страдание. Половой шел за ним, но Антон покачнувшись между столами, повернул и влетел в двери бильярдной. Теперь он был уже так пьян, что почти ничего не видел и не понимал; перед его глазами стояло какое-то оранжевое марево, в котором плавали и тонули лица, звуки, голоса и быстро бегающие по ярко-зеленому сукну шары. Половой задумчиво постоял у дверей, но кто-то кликнул его, и он исчез. Антон, широко расставив ноги и опустив голову, тупо присматривался к тому, что делалось на бильярде, и все усиливался понять, в чем дело, — не то на бильярде, не то в нем самом. Тот самый приказчик, который толкнул его и обругал, попался Антону на глаза, и Антон машинально долго всматривался в него. — Дуплет в угол! — звонко прокричал приказчик, и в эту самую минуту Антон вспомнил его лицо, и беспредметное чувство озлобленной обиды, которое мучило его, вдруг нашло исход. Точно что-то бесконечно огромное в мгновение сжалось и вылилось в это тупое усталое лицо.

— По...звольте, — проговорил он неожиданно, подходя к бильярду и всем телом наваливаясь на сукно.

— Чего? — машинально спросил приказчик и, не дожидаясь ответа, оттер Антона плечом и крикнул: — Пятнадцатого в угол направо!

— Нет, это что... направо! — со злобной бессмысленностью сказал Антон.

— Отойдите, отойдите, — протянув между ним и бильярдом машинку, говорил маркер.

Но Антон отстранил машинку рукой и, не спуская воспалившихся глаз с приказчика, продолжал:

— Нет, что же... я тоже играть желаю... Имею такое намерение, чтобы... направо!.. Разве как рабочий человек... нельзя, чтобы...

Маркер взял его за локоть.

— Нет, ты пусти... чего хватаешь?.. А он меня толкнул... рабочего человека! У меня руки че-ер-ные, — слезливо сказал Антон, показывая черные корявые пальцы: — рабочий человек... а он меня так... Желаю я знать, как это так, чтобы рабочего человека направо!

— Ишь мелет, пьяная рожа! — засмеялся приказчик. — Маркер, ты чего смотришь!

— Ступай, — сердито проговорил маркер и взял Антона за плечо.

И вдруг чувство обиды возросло в Антоне с бешеной силой.

— Пу...сти, — сквозь зубы крикнул он задавленным голосом и с силой вырвался, так что затрещал пиджак. — Он толкнул, а меня хватать! совершенно трезвым тоном прокричал он и смахнул рукой шары с бильярда.

Шары со стуком полетели через борт, но Антона уже схватили за руки, сшибли с ног и поволокли по полутемному коридору.

— Пусти!.. черти! — кричал Антон.

Кто-то с размаху ударил его по скуле, и соленая кровь сразу наполнила ему рот. А голос, как показалось Антону — приказчика, торжествующе прокричал:

— Вот так... славно!

И в ту же минуту Антон увидел перед собою отворенную на темную улицу дверь, и на него пахло свежим сырым воздухом.

— Врешь... — хрипел Антон, изо всех сил цепляясь за косяки скрюченными пальцами.

Но руки оторвали и, получив страшный, точно весь мир свернувшийся, удар по затылку, Антон влетел в темноту и пустоту, поскользнулся на тротуаре, треснулся коленом о тумбу и всем телом грузно покатился по мостовой.

— Берегись, черт! — тоненько, с испугом, прокричал извозчик, и Антон где-то близко от себя услышал тревожное храпение и мягкий теплый запах лошади.

Он поднялся, шатаясь и сплевывая кровь. В ушах у него звенело, в глазах ходили круги и скула трещала от ломящей тупой боли. Антон машинально потрогал мокрое колено и не мог разобрать, кровь это или вода.

— Так, — с горькой злобой сказал он громко, помолчал и прибавил: — так, значит!..

И тут уже ясно и понятно увидел, что жизнь его — несчастная, горькая жизнь, что его обидели, и что обижали всегда, давно и постоянно. Антон заплакал и погрозил кулаком запертой двери.

— Раб...бочего человека! — проговорил он сквозь слезы и пошел вдоль улицы, чувствуя себя бесконечно несчастным и обиженным. Он повернул за угол на большую улицу и вышел опять к главному входу в трактир, где стоял швейцар в шапке, горел яркий фонарь и ругались между собою извозчики. В это время из подъезда вышли два приказчика, окончив игру, и, дымя папиросами, пошли по тротуару.

Антон увидел их и сначала ошалел от страшного, еще не известного ему чувства, а потом, нащупывая в кармане сапожный нож, качаясь на ослабевших ногах, погнался за ними.

На тротуаре было много народу, — шли, смеясь, какие-то женщины, офицер толкнул Антона, двое мастеровых заступили ему дорогу, — но Антон уже ничего не видел, кроме, с страшной яростью врезавшегося ему в глаза, круглого черного котенка, уходившего от него по тротуару. Раз он чуть не потерял его из виду; ему не давали дороги, и Антон сбежал на мостовую, сразу обогнул две-три кучки людей и догнал приказчиков.

Они смеялись, и один, не тот, который толкнул Антона, говорил:

— Вон она... Машка!

И остановились близко к какой-то женщине в огромной красной шляпе, призрачно качавшейся в неверном свете фонарей.

— Откуда плывете? — хриплым басом спросила она, а в это время Антон догнал их и со всего размаху, упирая всем телом, ткнул приказчика ножом в спину.

Он успел почувствовать, как мгновенно прорезал толстый драп и со скрипом, дошедшим по лезвию, что-то упругое и твердое, сразу ставшее хлипким и мокрым, бросил нож и, сам еще не зная зачем и куда, бросился бежать. Крикнул приказчик или не крикнул, Антон не слышал, но видел, как на мокрых плитах тротуара, блестящих от фонарей, на том самом месте, где только что стоял человек, очутилась какая-то черная бесформенная куча. И ему показалось, что все, что только было во всем свете, со страшным ревом и топотом бросилось за ним.

Облившись холодным потом от ни с чем не сравнимого животного ужаса и дико выкатив глаза, Антон ударился в темный переулок и стремглав полетел вдоль улицы, не видя, что делается сзади, но слыша за собой отчаянный многоголосый крик.

Отчетливо топоча ногами и тяжело сопя, за ним бежали дворники, городской и трое мастеровых в опорках.

— Держи-и! — странно и страшно раздавалось из конца в конец темной улицы.

Хрипя от страшного бега, задыхаясь от слюны, наполнившей все горло, Антон повернул в одну и другую улицу, тяжело столкнул кого-то с дороги и, выпучив глаза, весь в поту, помчался по тротуару вдоль набережной темного и грязного канала, от черной воды которого несло холодом и сыростью.

Как раз на повороте встречный городской схватил его за рукав, но поскользнулся и загремел шашкой по мокрым камням мостовой.

Антон все летел, прыгая, скользя, хрипя, сопя и рыча, как дикое загнанное животное. Ужас придавал ему такую силу, что крики догонявших и пронзительные свистки слышались уже где-то далеко сзади, в черном, еле пронизанном слабым желтым светом фонарей, мраке.

Антон перебежал мостик, перескочил в сторону через какую-то канаву, спугнув бездомную собаку, упал на руки, вскочил и выбежал в темное пустое место, поросшее черной травой, уныло рвавшейся от ветра. Тут было пусто и холодно, фонари горели где-то далеко позади и впереди, а в стороне чернелось что-то похожее на лес, и оттуда слышался долгий заунывный шум деревьев.

III

Всю ночь Антон пролежал в яме, полной мокрых листьев, и вокруг него была только тихо шуршавшая трава, а над ним холодное, черное, неустанно моросившее невидимым дождем, небо. Антон лежал, съезжившись от холода и чувствуя, как все его тело пронизывает и мозжит насквозь холодная вода, а в голове его обрывками и скачками неслись спутанные и бессвязные мысли. Только одна была ясна и совершенно понятна ему, что прежняя жизнь кончена, что ему уже никак нельзя очутиться снова в своем подвале за прежней работой. Сначала это было странно и страшно ему, но, еще раньше чем он догадался об этом, в душе



его поднялось смутное радостное чувство.

«Конец, значит? — спросил он себя и от этой мысли даже поднялся и сел: — Фа... довольно!» — с немим торжеством, точно бахвалясь перед кем-то, всю жизнь давившим его, подумал Антон, и радость становилась все сильнее и сильнее, и чувство свободы заглушало страх и смутное недоумение перед будущим.

В поле было холодно и пусто, но душать {Так в книге — М.Б.} было легко и приятно.

Утром он, весь мокрый и всклокоченный, обошел по полю и дальним переулком вошел в город с другой стороны, где еще никогда не бывал. Оттого, что место было незнакомое, казалось, что здесь как-то светлее и свободнее. Он ходил по улицам, освещенным солнцем, и ему было страшно и радостно, что он не работает в то время, когда всегда работал, может делать что угодно и не думать о том, что надо кончать к сроку работу, платить за подвал, за кожу, за колодки. Сначала он дичился и, как всегда, уступал всем дорогу, но, оборванный и грязный, он был странен и страшен, и все невольно сторонились от него. И он заметил это, понял, что страшен, и стал переть прямо на всех, наслаждаясь неведомым раньше чувством. Целый день он прошлялся по городу, есть ходил в закусочную, а после обеда пошел в поле, долго лежал на просохшей под солнцем траве и думал.

По окраине поля и по всему горизонту торчали тоненькие красные трубы фабрик, и дым от них стоял над городом непроглядным буро-грязным заревом. В поле было тихо и светло. То, что Антон ночью принял за лес, было кладбище. Отсюда были видны маленькие, точно игрушечные, кресты и памятники, тихо белевшие в золоте пожелтевших березок.

Антон лежал животом на просохшей траве, в яме, и, выставив голову, смотрел на кладбище.

Он все старался представить себе что-то страшное, но ему было просто свободно, тихо, хорошо. Полиции он не боялся нисколько, потому что тюремная жизнь, которую он уже знал, была лучше той более голодной, холодной, скучной и бесправной, чем тюрьма, которую он жил на свободе. О том же, что он убил человека, Антон думал смутно и мало. Он был слишком туп и слеп, чтобы понять всю ночную сцену в ее истинном страшном смысле. И не было в нем раскаяния и жалости, а напротив — смутное, торжествующее, непривычно смелое и отчаянное чувство.

Было похоже на то, как если бы он сказал кому-то:

— А, ты так... Ну, так вот же тебе!..

И только уже к вечеру, когда по полю прошла глубокая задумчивая тень, когда потемнело золотое кладбище и белые кресты утонули, растаяли в его коричневой массе, Антону стало грустно. Он стал тяжело вздыхать и ворочаться в своей яме. Было чего-то жаль, чего-то хорошего, ясного. Антон беспокойно повернулся на спину и поглядел в далекое бездонное небо, в котором таяла прозрачная и холодная заря. И оттуда из бесконечного и чистого простора веяло грустью. Тогда Антон поднялся в яме, черный и мохнатый, и вылез на бугор; в поле было пусто и темно.

— Кабы что... а то... — с щемящей нотой безнадежного тоскливого чувства сказал громко Антон и махнул рукой.

Потом он пошел к городу, раскачиваясь на ходу и оглядываясь, упрямо и тяжело, скошенными глазами, точно высматривая, кому вцепиться в горло.

С широкого поля мерно и грустно дул могучий вольный ветер.

1903